



И. ОДОЕВЦЕВА

На берегах Сены

<фрагмент>

Ту зиму, зиму 1925—1926 года, мы с Георгием Ивановым проводили в Ницце.

Из Парижа Георгий Адамович писал нам, что он постоянно бывает у Мережковских, и что они, как когда-то в Петербурге, возобновили свои «воскресенья», игравшие немалую роль в довоенной литературной жизни.

Я еще в детстве увлекалась трилогией Мережковского — «Петром и Алексеем», «Юлианом Отступником» и особенно «Леонардо да Винчи». Читала я и «Александр Первый», «Гоголь и черт», «Толстой и Достоевский». Видела на сцене и «Павла I», до революции находившегося под запретом.

Знала я, конечно, и стихи Зинаиды Гиппиус. Они мне не очень нравились своей рассудочностью и, главное, тем, что она писала о себе в мужском, а не в женском роде.

Все же я знала наизусть два ее стихотворения. Первое очень любил Блок:

Окно мое высоко над землей,
Высоко над землей.
Я вижу только небо с вечернею зарей,
С вечернею зарей —

с его качающимся ритмом, с его редко свойственной Гиппиус музыкальностью и неожиданно прелестным концом, таким характерным для всегда и всем недовольной Гиппиус:

Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

И второе:

Единый раз вскипает пена
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет — любовь одна...

Читала я, конечно, и Антона Крайнего (псевдоним Гиппиус), беспощадного критика, ведущего суд и расправу над современной прозой и поэзией.

Антона Крайнего боялись не меньше, чем самого Брюсова. Приговоры его были убийственны. Критические статьи его пестрели определениями вроде: «рыжая бездарность», «идиот», «недоносок», «кretин» и тому подобными вежливыми характеристиками писателей.

На похвалы Антон Крайний был чрезвычайно скончан. Даже о «Стихах о Прекрасной Даме» Блока он отзывался более чем сдержанно.

О Зинаиде Гиппиус в Петербурге ходили всевозможные легенды, как, впрочем, обо всех знаменитых писателях и писательницах.

Рассказывали, что она выходила на сцену в белом хитоне с распущенными длинными рыжими волосами, держа лилию в руках, и молитвенно произносила:

Я сам себя люблю как Бога.

Рассказывали, что она требует, чтобы все ее бесчисленные поклонники, те, что женаты, отдавали ей свои обручальные кольца, и что она нанизывала их на цепочку, висевшую в изголовье ее кровати.

Видела я и прославленный портрет Бакста, где она изображена в черном трико, казавшемся в те далекие годы фантастически неприличным и скандальным.

Мне не раз в Петербурге приходилось слышать во время моих чтений стихов восхищенные восклицания пожилых представительниц художественной богемы:

— Совсем наша Зина!

Хотя, судя по ее портрету, я ничем не была похожа на нее.

О Мережковском я знала, что он всемирно знаменит, дома ходит в ночных туфлях с помпонами, пишет четыре часа в день, каждый день, что бы ни случилось, остальное время проводит в бесконечных дискуссиях с Розановым, Булгаковым, а главное — с Философовым и Зинаидой Гиппиус.

Адамович писал нам, что З. Н. Гиппиус выразила желание познакомиться с Георгием Ивановым и мной, и мы, не долго думая, собрались и поехали в Париж.

И вот мы на 11-бис, рю Колонель Боннэ, у Мережковских.

Вполне буржуазный дом, вполне буржуазная, хотя и очень скромная и бесвкусно обставленная квартира с многотомной библиотекой. Мережковский всегда и всюду первым делом обзаводился библиотекой. Он не мог и дня прожить без книг. В разговоре он постоянно цитировал древних и средневековых авторов. Его недаром называли «полководцем цитат».

Квартира была снята Мережковским еще задолго до войны, чтобы во время приездов в Париж не приходилось — «ведь это так неудобно» — жить в отеле. «И как она теперь пригодилась! Ведь в Париже квартирный кризис. Что бы мы стали делать, если бы у нас ее не было?»

Чаепитие почему-то происходит в это воскресенье не в столовой, а в смежной с нею гостиной, за небольшим столом. Гости сидят вокруг него двойным кольцом.

Адамович представляет Георгия Иванова и меня Зинаиде Николаевне Гиппиус. Она, улыбаясь, подает мне правую руку, а в левой держит лорнет и в упор разглядывает нас через него — по-переменно — то меня, то Георгия Иванова.

Я ежусь. Под ее пристальным, изучающим взглядом я чувствую себя жучком или мухой под микроскопом — очень неуютно.

Мережковский, здороваясь с нами, рассеянно оглядывает нас и продолжает свои рассуждения об Атлантиде.

Злобин, играющий одновременно роль секретаря Мережковского и роль *jeune fille de la maison* *, находит для меня место за столом и приносит мне чашку чая.

Зинаида Николаевна усаживает Георгия Иванова возле себя с правого, слышащего уха и, не обращая внимания на общий разговор, подвергает его перекрестному вопрос-допросу: «что, как и зачем, а если нет — то почему?», стараясь выпытать у него, «интересуется ли он интересным».

Оказывается — интересуется. Если не всем, то все же главнейшим — спасением России и поэзии.

Я смотрю на Зинаиду Николаевну. Она все еще время от времени наводит на меня стекла своей лорнетки. Я знаю, что она очень близорука, но меня все же удивляет это бесцеремонное разглядывание. Удивляет и смущает, но не обижает. Обижаться было бы неуместно. Обижаться не полагается.

Нет, она совсем не похожа ни на портрет Бакста, ни на воображаемый портрет, созданный мною по рассказам о ней. И она ничем не похожа на меня. Абсолютно ничем. И слава Богу!

* девушка в доме (франц.).

Впрочем, одним она все же схожа, со своим воображаемым портретом — страстным желанием нравиться, «будить повсюду восхищение», сквозящим в каждом ее жесте, в каждом слове, лениво и капризно произносимом ею.

Да, она могла снимать с рук своих поклонников обручальные кольца.

Я спрашиваю себя: уж не потребует ли она и у Георгия Иванова его обручальное кольцо?

Но как мог Блок называть ее «зеленоглазой наядой». «Женщина — безумная горячка» — еще и сейчас правильно сказано о ней. Но «зеленоглазая наяда»... Как он мог?..

У нее мутно-болотистые, бесцветные глаза. Лицо без рельефа. Плоский лоб. Довольно большой нос. Узкие, кривящиеся губы... Она очень сильно набелена и нарумянена. Морковно-красные волосы, явно выкрашенные хной, уложены в замысловатую, ста-ромодную прическу с шиньоном. Волос чересчур много. Должно быть, большая часть их фальшивые.

Но я ошибаюсь. Волосы, как я потом узнала, все ее собственные. Она до последних дней сохранила длинные, густые волосы и любила распускать их и хвастаться ими.

На ней пестрое платье какого-то небывалого фасона, пестрое до ломоты в глазах. И, будто этой пестроты ей еще мало, на груди большая ярко-зеленая роза и кораллово-красная ленточка на шее.

Я разочарованно гляжу на нее. В ней что-то неестественное, даже немного жуткое. Она чем-то — не знаю чем — о, только не красотой — смутно напоминает мне Панночку Вия.

Но, может быть, я несправедлива к ней и слишком строга?

У нее тонкие ноги в узеньких, остроносых, бронзовых туфельках истройная, изящная фигура.

Может быть, надо только привыкнуть к ее гриму, к ее маскарадному наряду, к ее жеманно-ленивой манерности и лорнету? Может быть, она действительно могла казаться когда-то «зеленоглазой наядой»?

Нет, я еще не могу правильно судить о ней. Я не доверяю первым впечатлениям. Я перевожу взгляд на сидящего рядом с ней Георгия Иванова, и по выражению его лица мне сразу становится ясно, что он-то уже подпал под ее шарм, что он уже покорен ею. А ведь он очень строго судит о людях и понравиться ему трудно. Возможно, я ошибаюсь. И я действительно в тот день ошибалась, судя о ней. Никогда я так неправильно, так несправедливо не судила — ни о ком, как в ту первую встречу о Гиппиус.

Но смягчающее мою вину обстоятельство — ни у кого «внешнее» и «внутреннее» так не расходились и даже, казалось, не враждовали друг с другом.

Я видела всегда только ее внешнее. О ее внутреннем я ничего не знала и даже не догадывалась, какое оно...

Я перевожу взгляд на Мережковского. Он-то по крайней мере совсем, точь-в-точь, как мне его описывали — маленький, худой, сутулый до сгорбленности, с поразительно молодыми, живыми, зверино-зоркими глазами на старом лице, обрамленном интеллигентской бородкой.

Вот он встает. Ему понадобилась в разгаре спора, для цитаты, какая-то книга, и он мелкими, бесшумными шажками идет за ней в кабинет.

Да. Он совсем точь-в-точь такой. Для полного сходства не хватает только помпонов на синих войлочных туфлях. Но где в Париже найти туфли с помпонами?

Он возвращается, держа раскрытую книгу в руках и убедительно произнося непонятную мне греческую цитату.

Он весь сверкает и горит вдохновением. Слова его пенятся, плещут и льются водопадом. Я за всю жизнь не встречала никого, умевшего так говорить и импровизировать.

Никого, за исключением Андрея Белого, тоже рассыпавшегося блестками, искрами и брызгами в яростном водовороте слов и образов, — он, как на качелях взлетавший на доказательствах, рушившийся в бездну отрицания и закружающий, как на карусели, слушателя, до отупения, до головокружения, до невозможности спорить, до безоговорочного принятия всего и согласия со всем, что с неистовым красноречием утверждает Андрей Белый.

Впрочем, у Мережковского была черта, отсутствовавшая у Андрея Белого, — умение концентрироваться и постоянное, никогда не ослабевающее устремление всех мыслей и воли к одной цели: к созданию Царства Духа, к преображению души.

Сейчас он спорит с чисто юношеской запальчивостью и жаром о дате смерти какого-то неизвестного мне фараона с сидящим рядом с ним худощавым брюнетом — с Юрием Терапиано, как мне услужливо сообщает устроившийся во втором круге за моей спиной очень длинный и длинноволосый, седеющий молодой поэт Антонин Ладинский, как он мне представился, по-военному щелкнув каблуками.

Здесь, за исключением Адамовича и Оцупа, Георгия Иванова и меня, почти все «молодые поэты». Молодые не столь годами, как творчеством. Все они начали печатать свои стихи уже в эмиграции.

Всех их я вижу впервые. Я обвожу их взглядом, перескакивая с одного незнакомого лица на другое, запоминая лишь ка-

кую-нибудь деталь — серьезный, сосредоточенный вид Терапиано, красивые глаза Мамченко под резко очерченными темными бровями, энергичное, жизнерадостное выражение лица Кнута, очки Злобина, горделиво закинутую пышноволосую голову Бахтина.

Все они, вместе с Гиппиус и Мережковским, Адамовичем и Оцупом, сливаются в одну картину. Ее надо непременно запомнить. Ее нельзя забыть. Ведь это одно из самых интересных и значительных событий, что сейчас происходят в эмиграции, — «воскресенье» на рю Колонель Боннэ.

Зинаида Николаевна уже перестала наводить на меня лорнет. Она подносит чашку кофе к губам, прислушиваясь к тому, что говорит Мережковский.

Перед ней стоит маленький кофейник. Пить кофе полагается только ей одной. Остальные, независимо от их вкусов, о которых никто не осведомляется, довольствуются чаем.

— Нет, Димитрий. Я не согласна! — вдруг громко, капризным тоном заявляет она, прерывая страстную тираду Мережковского.

«Я не согласна» — фраза, наиболее часто — кстати или не совсем кстати — произносимая ею. Утилитарная, ширпотребная фраза, паспарту. Ее разговоры часто начинаются именно с нее:

— Я не согласна с Эйнштейном! или — с Бергсоном! или — с Алдановым! или — со Степуном!

Иногда, по глухоте — она из кокетства старается скрывать ее — не рассышав, о чем спрашивают, отвечает: — А я не согласна!..

И чаще всего ее ответ производит магическое действие.

Так, например, молодой поэт, робея и смущаясь, задает ей вопрос:

— Зинаида Николаевна, вы читали мои стихи в «Звене»?

И она роняет капризно-кокетливо:

— Нет. Я не согласна.

Спрашивающий в смущении замолкает. Стихи его, должно быть, не понравились Зинаиде Николаевне, неизвестно почему. Но не стоит настаивать. Ведь она любит повторять афоризм: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». И он не решается требовать объяснений.

Сейчас я впервые слышу от нее ее знаменитый протест, о котором мне когда-то рассказывал еще Гумилев в Петербурге.

Я вся превращаюсь в слух. Я хочу знать, с чем она, собственно, не согласна, мне хочется услышать парадоксальные выводы и доводы ее блестящего, острого, не женского ума.

Нет, все-таки женского — ведь ведьма — женщина. Троцкий писал когда-то: «Я не верю в существование нечистой силы (цитирую по памяти). Не верю ни в чертей, ни в ведьм. Впрочем, все-таки в существование ведьм верю, — вспомнил Зинаиду Гиппиус». И тут же отдает дань ее исключительному уму.

Но послушать Зинаиду Николаевну мне в тот день не удается.

Ко мне близко наклоняется сидящий за мной Антонин Ладинский и шепчет мне в самое ухо:

— Какой ваш любимый цветок?

Я поворачиваюсь и чуть не стукаюсь лбом о его лоб.

— Что?

— Какой ваш любимый цветок? — повторяет он. — Я уверен, что роза. Правда? Я угадал?

Переход от рассуждений об Атлантиде к любимому цветку так неожиданно фантастичен, что я с трудом удерживаю смех.

А он, наклонившись ко мне, ждет моего ответа.

Верно, он, глядя на меня, подумал: «Бедненькая, сидит, молчит и скучает, слушая непонятное. Надо ее занять подходящим разговором», — и, как телеграфист, гуляющий по железнодорожной платформе со станционной барышней, задал мне галантный, доступный моему пониманию вопрос.

Я киваю.

— Вы правильно угадали — роза!

Он широко улыбается, прикрывая рот характерным жестом, и произносит:

— Я был уверен. Вы сами похожи на белую розу!

Я не успеваю поблагодарить его за такой оригинальный комплимент.

Зинаида Николаевна встает, и все за ней. Прием окончен. Шум отодвигающихся стульев. Все подходят прощаться с Зинаидой Николаевной. Подхожу и я.

— Надеюсь, вы будете постоянно бывать у нас. Каждое воскресенье, — любезно и капризно тянет она. — С вашим мужем мы уже сговорились. Он обещал. А вы?

И я, краснея от удовольствия:

— Обещаю, Зинаида Николаевна.

Да, я тогда, в то первое «воскресенье» у Мережковских, еще не могла правильно судить о Зинаиде Гиппиус.

Я многое в ней не разглядела и не поняла. Я не разглядела даже, что у ее лорнетки не два, как полагается, а только одно стекло, что это не лорнетка, а единственный в своем роде пред-

мет — монокль на ручке, должно быть, сделанный по особому заказу.

В те далекие годы монокли еще были в ходу — их носили изящные старики и снобистские молодые люди. Но, конечно, не дамы. Дама в монокле или с моноклем была совершенно немыслима.

Но, как почти всегда, действительность оказалась более фантастичной, чем фантазия. Зинаида Николаевна носила монокль. Правда, она носила его исключительно на улице, вставляя его в левый глаз перед зеркалом, в прихожей, перед тем как надеть перчатки.

Гиппиус и Мережковский представляли собой на улице совершенно необычайное зрелище.

Как известно, парижан редко чем можно удивить. Они равнодушно смотрят на китайцев с длинной косой — тогда такие китайцы еще встречались, — на восточных людей в тюрбанах, на японок в вышитых хризантемами кимоно, с трехъярусными прическами, на магарадж и прочих.

Но на идущих под руку по улицам Пасси Гиппиус и Мережковского редко кто не оборачивался и, остановившись, не глядел им вслед.

Я и сама, встретив их впервые, не смогла не остановиться, пораженная их видом.

Они шли под руку — вернее, Мережковский, почти переломившись пополам, беспомощный и какой-то потерянный, не только опирался на руку Гиппиус, но прямо висел на ней. Гиппиус же, в широкополой шляпе, замысловатого, совершенно немодного фасона — тогда носили маленькие «клоши», надвинутые до бровей, — с моноклем в глазу, держалась преувеличенно прямо, высоко подняв голову. При солнечном свете белила и румяна еще резче выступали на ее лице. На ее плечах неизменно лежала рыжая лисица, украшенная розой, а после визита Мережковских к королю Александру Сербскому — орденом Саввы II степени.

Король Александр Сербский пожаловал Гиппиус Савву II степени, а Мережковскому того же Савву, но I степени, что ею было принято не без некоторой обиды. Мережковский, впрочем, никогда о своем Савве I степени не вспоминал и никогда не надевал его, не в пример Зинаиде Николаевне, не расстававшейся со своим орденом, как с любимой игрушкой.

Они ежедневно обходили небольшую часть Булонского леса, называемую Парк де ля Миэтт, а потом, тоже по раз навсегда заведенному ритуалу, шли пить кофе в кафе на площади, садясь всегда за один и тот же столик.

В кафе их хорошо знали. Не только гарсона, но и постоянные посетители. Знали, что это *deux grands écrivains russes** и к ним относились с должным уважением.

И во время прогулки, и в кафе они говорили, не умолкая. Они всегда находили интересную для них тему и горячо обсуждали события двадцатилетней давности и происшествия сегодняшнего дня. Они как будто не чувствовали ни «груза времени», ни даже границ между жизнью и смертью. О живых и мертвых они говорили совершенно одинаково. Для них мертвые, наравне с живыми, действовали и участвовали в их беседах.

— Нет-нет, — повторяла Зинаида Николаевна, — я не согласна с Яковом Петровичем. Ему кажется, что он всегда прав и что он пишет хорошо. А по-моему —

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа —

просто плохо. Почему писатель должен быть нервом народа? И какой такой «нерв народа»? Один нерв?.. И дальше: что это значит? —

Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

Поражен — удивлен? Или поражен — от поражения — то есть не понести поражения? — И, пожимая капризно плечами: — Не понимаю. И понимать не хочу. А Яков Петрович спорит. Он ведь всегда доволен собой, «своим обедом и женой».

Она говорит «спорит», а не «спорил». Спорил больше чем тридцать лет тому назад. Но для Зинаиды Николаевны Полонский не умирал, он по-прежнему ее собеседник. И с ним, как и с другими, игравшими какую-нибудь роль в ее жизни, встреченными ею на длинном жизненном пути, она продолжает споры-разговоры.

С того первого нашего «воскресенья» я бывала на 11-бис Клонель Боннэ почти каждое воскресенье. Зинаида Николаевна очень подружилась с Георгием Ивановым. Она часто приглашала его к себе вечером и просиживала с ним до «глубины ночи», с глазу на глаз, и он ни разу не отказался навестить ее. Даже когда я бывала больна, и он никуда из дома не выходил, для Зинаиды Николаевны он делал исключение.

Правда, мне и в голову не приходило попросить его не ходить к ней. Я знала, что эти вечерние посещения доставляют ему большое удовольствие.

* Два больших русских писателя (фр.).

Мережковские вели размежеванную по часам жизнь. Зинаида Николаевна ложилась поздно, проведя полночи в писании писем, дневника, стихов, рассказов и статей, и вставала очень поздно. Ее утро было занято «обрядностями туалета». К ним она относилась крайне серьезно и добросовестно, никогда не забывая произвести над своим лицом все то, что могло «réparer de l'âge l'irréparable outrage» *.

Она выходила из своей комнаты только к завтраку, уже вполне одетая, причесанная, подкрашенная и подтянутая.

Мережковский ложился рано, вставал рано и работал все утро до завтрака.

После завтрака они шли гулять в любую погоду — в холод и дождь, считая прогулку не менее необходимой, чем сон и пищу.

Они оба курили. Но не больше раз навсегда положенного числа папирос и только после завтрака. О лечении и гигиене у них были свои особые, довольно странные понятия.

Так, например, на мой совет поехать летом в Виттель или в Виши Мережковский в ужасе замахал на меня руками:

— Бога побойтесь. Смерти вы нашей хотите, что ли? Минеральная вода — яд!

И Зинаида Николаевна поддержала его:

— Лучше уж, чем минеральную воду, скипидар пить, как Владимир Соловьев. — И тут же пояснила: — Владимир Соловьев пил скипидар, чтобы избавиться от чертей. Он был уверен, что черти не выносят запаха скипидара и не заберутся к нему в рот. — Зинаида Николаевна подняла свой лорнет-монокль к глазам и, полюбовавшись произведенным впечатлением, продолжала:

— Но и скипидар не помог. Только смерть его ускорил. А черти преследовали его по-прежнему. Правда, мне, как я ни старалась не удалось их увидеть, хоть мне и очень хотелось...

Ларошфуко в своих «Максимах» утверждает, что «существуют хорошие браки, но восхитительных браков не бывает». И это, к сожалению, правильно. В особенности у нас, русских и особенно в художественных и литературных кругах.

Тэффи, «великая умница-остроумница», как ее называл Бунин, со свойственным ей юмором прерывала надоевшие ей политические споры, без которых не обходился ни один эмигрантский обед:

— Довольно! Теперь займемся очередными литературными делами, поговорим о романах, о том, кто с кем разводится, кто на ком собирается жениться, и кто кому с кем изменяет.

* «обратить вспять необратимое время» (фр.).

И действительно, среди писателей почти не существовало ни одной супружеской пары, не разводившейся, не вступавшей по несколько раз в новый брак. Даже Михаил Осоргин, героически решившийся перейти, для женитьбы на Рахили Григорьевне, в еврейство, и тот не выдержал, не избежал общей участи — развода.

Но брак Гиппиус — Мережковский опровергает утверждения Ларошфуко. Это был поистине «восхитительный брак».

Вернувшись из Италии, куда они ездили по приглашению Муссолини, Зинаида Николаевна на одном из «воскресений» делясь своими «итальянскими впечатлениями», рассказывала между прочим и о мелких, неизбежных неприятностях. О том как они забыли в Риме ключи от своих чемоданов и обнаружили это, только приехав уже не помню в какой город:

— Так досадно и глупо. Так утомительно. Нам пришлось возвратиться в Рим. И сколько денег стоило. Туда и обратно два билета в спальном вагоне.

— Но почему же не поехал Дмитрий Сергеевич один? Почему вы, Зинаида Николаевна, тоже ездили? — недоумевали слушатели.

Она только плечами пожимала.

— Ну нет! Совершенно невозможно. Немыслимо! Чтобы мы хоть одну ночь провели не вместе? Этого за всю нашу жизнь не было. И надеюсь, никогда не будет.

Они так до самой смерти Дмитрия Сергеевича и прожили, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь. И продолжали любить друг друга никогда не ослабевающей любовью. Они никогда не знали скуки, разрушающей самые лучшие браки. Им никогда не было скучно вдвоем. Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга. Они были далеки от стереотипной, идеальной супружеской пары, смотрящей на все одними глазами и высказывающей об всем одно и то же мнение. Они были «идеальной парой», но по-своему. Неповторимой идеальной парой. Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался самим собой. Но в их союзе они как будто переменились ролями — Гиппиус являлась мужским началом, а Мережковский — женским. В ней было много М — по Вейнингеру, а в нем доминировало Ж. Она представляла собой логику, он — интуицию.

Они вели беспрерывно дискуссии и споры, опровергая друг друга. Со стороны это казалось чрезвычайно странным. В особенности, когда эти споры происходили на собраниях «Зеленої лампи».

Зинаида Николаевна, всегда усаживавшаяся на эстраду рядом с выступавшим Мережковским, чтобы чего-нибудь не пропустить, не недосыпать, вдруг прерывала его речь капризами:

— Нет, я не согласна, Димитрий. Ты ошибаешься. Это совсем не так! — После чего сразу же закипала яростная словесная дуэль, оба противника скрещивали шпаги и наносили друг другу искусные и жестокие удары.

Слушатели замирали от изумления. Некоторые из них даже считали, что это подстроено, что это «трюк» для придачи занимательности выступлениям Мережковского. Разве можно поверить, что Мережковский публичноссорился с Гиппиус? И чем же это кончится, если это не подстроено? Чем?..

А кончалось это обычно так же неожиданно, как и начиналось. Высказав с предельной резкостью все свои доводы, Мережковский сразу превращался в любящего мужа, нежно и заботливо брал Гиппиус под руку, помогая ей сойти с эстрады:

— Осторожно, Зина, ступенька. Не оступись! — подводил ее к месту в первом ряду, усаживал ее и бережно поправлял лисицу, спустившуюся с ее плеча, осведомляясь: — Тебе не холодно? Не дует, Зина? Не принести ли тебе шубку? Не простудись.

И она, улыбаясь, благодарила его.

— Нет, хорошо. Спасибо, Димитрий, — и приготовлялась слушать следующего оратора.

Заседания «Зеленой лампы»...

«Зеленая лампа», безусловно, одно из замечательнейших явлений довоенной эмиграции.

Она была задумана на «воскресеньях» на 11-бис, Колонель Боннэ, с каждой неделей становившихся все более интересными и многолюдными. Теперь на «воскресеньях» бывали уже и Ходасевич с Ниной Берберовой, и Фондаминский, и Бунин, и Керенский, и Варшавский, и Шаршун, и Тэффи, и Шестов, и Бердяев... Кто только не посещал «воскресений»? Всех не перечесть.

На «воскресеньях» обсуждались общественные, политические, литературные и религиозные вопросы, чаще всего под своим Мережковскому «метафизическим утлом зрения».

Отвергал Мережковский только разговоры, общепринятые за чайным столом, — о здоровье, о погоде и тому подобном, и немедленно пресекал их возмущенным возгласом:

— Обывательщина!

Вскоре выяснилось, что «воскресенья» становятся чем-то вроде «инкубатора идей», каким-то тайным обществом или заговором. И Мережковский, и Гиппиус, одержимые страстью «глаголом жечь сердца людей» и владеть их умами, решили расширить

поле своей деятельности, перенести дебаты-дискуссии, в которых из столкновений мнений должна была рождаться истина, из их столовой на «общественную арену». Расширить круг «тайных заговорщиков», перебросить мост в толщу аморфной эмиграции и заставить ее приобщиться к истине.

Название «Зеленая лампа» напоминало о тайном кружке Все-воложского. В нем участвовал и Пушкин.

Теперь, через столько лет, мне кажется, что Мережковские мечтали создать что-то вроде Pugwash *, о котором столько пишут и говорят сейчас. Не интернациональный и не научный, а эмигрантский писательско-философско-религиозный. Как и нынешний Pugwash, являющийся некоей доброй оккультной силой, «Зеленая лампа» должна была спасать если не весь мир, то по крайней мере Россию и ее филиал — эмиграцию.

Что эмиграцию надо спасать не только от «обывательщины», но и от гордыни и самоуничтожения, от отчаяния и потери веры в будущее, что надо ей помочь организоваться духовно и управлять ею, было для Мережковского несомненным. Всем этим с помощью «заговорщиков воскресников» и должна была заняться «Зеленая лампа».

«Зеленая лампа» начала свое существование 5 февраля 1927 года.

В день открытия В. Ф. Ходасевич объяснил собравшимся, чем была «Зеленая лампа» во времена Пушкина. После чего был прочитан первый доклад, сопровождавшийся прениями, сразу, как и доклад, произведшими на слушателей сильное впечатление отсутствием академичности и необычной страстностью, горячностью и парадоксальными мыслями, высказываемыми не только Мережковским, но и большинством «заговорщиков».

Так, во время одного из первых заседаний молодой поэт Давид Кнут заявил, что литературная столица России теперь не Москва, а Париж, чем, конечно, вызвал бурные дебаты и реплики с места.

Доклады следовали один за другим. Гиппиус говорила о «Русской литературе в изгнании», Фондаминский-Бунаков — о «Русской интеллигенции как о духовном ордене», Адамович — о том, «есть ли цель у поэзии», и так далее, и так далее.

«Зеленой лампой» заинтересовались широкие круги эмиграции. Многие стали «добиваться чести» попасть на ее заседания. Для этого требовалось письменное приглашение. Правда, дававшееся без особых затруднений.

* Пагуошское движение за мир, разоружение и международную безопасность.

Аудитория первых лет существования «Зеленой лампы» была повышенно нервной, верившей в то, что с такой страстью проповедовал Мережковский. Она выражала свое одобрение взрывами аплодисментов, а несогласие и протест — криком и топотом ног.

Мережковский, в особенности в ответах оппонентам, когда он импровизировал, а не произносил заранее подготовленную и продуманную речь, достигал необычайной силы и даже магии. Да, именно магии, не нахожу другого слова.

Казалось, что он вырастает, поднимается все выше и выше, отделяется от земли. Голос его звенел, широко открытые глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сквозь стену, туда, в ему одному открытое будущее, которое он так пламенно описывал очарованным, околдованным, боящимся перевести дух слушателям.

Тогда он действительно казался пророком, и слушатели свято верили, что он «носитель мысли великой».

«Зеленая лампа» заставила многих слушателей (слушателей действительно бывало много, особенно когда заседания происходили в зале «Плейель») серьезнее и лучше понять происходящее и — что не менее важно — самих себя.

«Воскресенья» и «Зеленая лампа» воспитали ряд молодых поэтов, научив их не только думать, но и ясно высказывать свои мысли. Ведь большинство воскресных «заговорщиков» выступали с докладами, предварительно обсуждавшимися на 11-бис, рю Колонель Боннэ, и принимали участие в прениях.

Из всех посетителей «воскресений», кажется, только я одна ни разу не прочла в «Зеленой лампе» доклада, никогда не участвовала в прениях и даже с места не подавала реплик. Все же я, по настойчивому требованию Мережковского, выступила один раз на большом вечере «О любви», двойном вечере в зале «Плейель».

Слушателей собралось на такую интересную для всех тему видимо-невидимо.

Не скрою, что я, как, впрочем, большинство французских ораторов, написала свою речь и выучила ее наизусть, не раз старательно прорепетировала перед зеркалом жесты и мимику. И неожиданно «блеснула красноречием» — ко всеобщему удивлению.

Мережковский даже заявил на последовавшем после вечера «О любви» «воскресенье», что «речь Одоевцевой была лучше всех». Что, конечно, никак не соответствовало истине. Просто он был удивлен, что и я могу что-то сказать, что-то соображаю. Моя внешность и мой тогдашний легкомысленный вид как будто противоречили этому.

Сам Мережковский произнес на первом вечере блестящую речь:

— Миром правят Нейкос и Филотес, Распры и Дружество — учит Эмпедокл. Или — противоположное,озвучное: Эрос и Эрис, Любовь и Ненависть, Мир и Война. Язва убийства — война: язва рождения — Содом. Пол с войной пересекается... Кровь сначала загорается похотью, а потом льется на войне...

— Благодарю Тебя, Господи, что я никого не родил и никого не убил. В этой, несколько странной для непосвященных молитве, русский ученик Платона, Вл. Соловьев, соединяет эти две язвы в одну...

— И я поэтому с Соловьевым! — воскликнул Мережковский, ударяя себя в грудь.

Не обошлось и без курьеза. На втором из этих вечеров выступила Тэффи — ведь это был полный парад-алле и смотр всех, посещавших «воскресенья».

Тэффи, должно быть сознавая всю ответственность предпринятого ею дела, взялась за него даже слишком глубокомысленно и написала целый ученый доклад — об аскезе.

Когда она в нарядном красном платье появилась на эстраде, в зрительном зале все радостно встрепенулись и заулыбались — наконец-то можно будет посмеяться!

И действительно, с первой фразы Тэффи об аскезе, с первой, с трудом произнесенной ею греческой цитаты раздался то тут, то там смех. Должно быть, некоторым слушателям показалось, что это все очень забавно и остроумно, а они одни не понимают такого тонкого юмора. И они на всякий случай стали смеяться.

Тэффи, разложив перед собой большие листы, исписанные ее крупным, неровным почерком, торопливо читала, напрягая голос, чтобы перекричать смех, свой длиннейший обстоятельный доклад. Начала она с языческого аскетизма, всесторонне разобрала египетский монахизм и его три стадии, приведя ряд греческих и латинских цитат.

Она, наконец, после подробного описания жизни св. Антония, сделанного Апаназом (в ней должное место было отведено и свинье св. Антония), перешла к различным мифам, посвященным отцам-пустынникам. О том, как львы похоронили св. Павла в пустыне, о том, как лев — должно быть, уже другой, не из компании тех львов-могильщиков — уступил св. Мальку свою пещеру, о крокодиле, переправившем на своей спине какого-то пустынника через Нил, о картине Веласкеса, изображавшей ворона, принесшего спорящим монахам-аскетам, забывшим среди мо-

литв и споров о Боге подкрепиться монастырской трапезой, хлеб. Теперь хохотал уже весь зал.

Бедная Тэффи все же мужественно дочитала свой ученый доклад. Дочитала до самой последней точки, не пропустив ни одной цитаты.

И слушатели устроили ей грандиозную овацию.

— Ах, уж эта Надежда Александровна! Ну кто, кроме нее, может придумать такое смешное? — восторженно повторяла седая дама меценатской внешности, отбивая свои пухлые, украшенные бриллиантами руки. — Ах, до чего, до чего смешно! Даст же Бог такой талант человеку!

Тэффи вошла в артистическую красную, краснее своего красного платья, и, остановившись на пороге, развела руками:

— Слышали? Я когда-то, еще до революции, написала рассказ об аптекарском ученике Котомке, читавшем на концерте свои стихи и не понимавшем, почему слушатели хоочут. «Покажи им Венеру Милосскую, так они, наверное, лопнут от смеха», — рассуждает он про себя. Вот и я сейчас моего Котомку разыграла. — Она швырнула рассыпавшиеся листы на пол. — А сколько мне труда и времени эта проклятая аскеза стоила! Нет, в первый и последний раз в жизни читаю доклад. Дайте лимонаду. Даже горло пересохло.

В антрактах Гиппиус, улыбаясь, объясняла подходившим к ней, что ей доклад Тэффи многое открыл.

— Я благодарна Надежде Александровне. Очень благодарна. Я поняла то, чего раньше не понимала, не хотела понять. — И, понизив голос, полуслепотом: — Не об аскезе, нет. Я впервые из-за Тэффи оценила здравый смысл дедушки Крылова, поняла, что и он бывает прав. Да еще и как:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник.

Гиппиус и Тэффи не очень симпатизировали и охотно критиковали друг друга, конечно, за глаза.

Но Тэффи все любили. И читатели, и знакомые, и друзья. Я никогда никого не встречала, относившегося к ней плохо. Тогда как Гиппиус многие терпеть не могли. Ее не мог терпеть, прямо ненавидел даже очаровательный Андрей Седых, один из самых милых и добрых людей эмиграции. Правда, она действительно скверно поступила по отношению к нему.

В 30-х годах «Зеленая лампа» уже не горела ослепительно и не проливала яркого света на эмиграцию, освещая ее совесть, душу, ум. Все, не исключая Мережковского и Гиппиус, чувство-

вали, что «заговор» не удался, хотя они и не сознавались в этом не только публично, но даже самим себе.

Некоторые участники «Зеленой лампы» покинули ее. Так, ушел Ходасевич. Уход Ходасевича был воспринят очень болезненно — Ходасевич был одним из ярких лучей «Лампы». Уход его стал считаться «изменой», и отношения между ним и Гиппиус — Мережковским охладились навсегда.

Все же «Лампа», все более сокращая круг своей деятельности, просуществовала до самой войны. Роль ее была значительно большей, чем принято считать. Конечно, она не достигла цели, к которой стремились Мережковский и Гиппиус. Все же она оставила по себе светлую память и сформировала умы целого ряда молодых поэтов. Кроме всего прочего, «воскресенья» и «Зеленая лампа» являлись настоящей школой красноречия.

Когда-то, еще на берегах Невы, в «Живом слове» я слушала лекции Кони по ораторскому искусству и принимала участие в практических занятиях, руководимых Кони. Но обмен мыслей и мнений на «воскресеньях» и в «Лампе», хотя там и не преподавались правила красноречия, достигал несравненно больших результатов, чем лекции и практические занятия Кони.

Общепризнанный лучший оратор эмиграции Георгий Адамович многому научился в «Лампе» и в бесконечных дискуссиях с Мережковским. «Зеленая лампа» всячески старалась привлечь к себе внимание, в особенности в последние годы своего существования. Так, уже в 1936 году «Зеленая лампа», «Возрождение» и варшавская газета «Меч» — в обеих газетах сотрудничали Мережковский и Гиппиус — устроили «всезарубежный конкурс» на историческое драматическое произведение. Премированное драматическое произведение обещали поставить в варшавском театре и напечатать в газете «Возрождение». Кроме того, автор должен был получить диплом.

Но с этим конкурсом получился «скверный анекдот»: первый приз, после многих месяцев, был присужден драме «Государь», — из эпохи итальянского Ренессанса, о чем сообщалось в газете «Меч». Написала ее шестнадцатилетняя эмигрантка, жившая в Сирии. Она, как она потом сама мне рассказывала, находилась только под большим влиянием Мережковского и Макиавелли и написала свою драму, помня о них.

Когда до нее дошла ошеломившая ее весть о том, что ей присужден первый приз, она, как древняя Рахиль, села на песок пустыни, благословила облака и поблагодарила Бога за ниспосланную ей славу.

Но время шло — день за днем, неделя за неделей. Ее лично никто ни о чем не осведомлял. Тогда она наконец решилась написать в варшавский «Меч», ответивший ей более чем необычайно: «Вас действительно премировали. Но Вашу драму поставить невозможно из-за множества костюмов. Поэтому высылаем Вам, в виде премии, том Фонвизина и диплом с печатью».

Том Фонвизина и похвальный лист — как в школе при переходе из класса в класс — вот и все, что получил молодой автор, думавший, что уже завоевал славу.

Драма «Государь» не была напечатана в газете «Возрождение» — неизвестно почему. Ведь «обилие костюмов» не могло помешать напечатать ее.

Результатом этого конкурса было только то, что русская эмиграция лишилась замечательно талантливой писательницы. Она после такой обиды стала писать не только по-русски, но и по-французски. Теперь она один из лучших — если не лучший — автор «научной фантастики», — Наталия Энненберг.

Все же через много лет как утешение она узнала от Цурикова, что Мережковский как-то сказал ему: «Моя лучшая ученица — маленькая девочка из Сирии». При мне однажды Мережковский, жалуясь, что у него нет последователей, поправил самого себя:

— Кроме одной, до чего одаренной, прелестной, большеглазой девочки. Я ее фотографию видел. Но ведь она живет в Сирийской пустыне. Вот бы ее к нам выписать!

Уже после войны, в Париже, Наталия Энненберг услышала чрезвычайно фантастическое объяснение этого дела. Якобы жюри, так как пьесы были подписаны не именами авторов, а их девизами, решило, что она принадлежит перу... самого Мережковского! Но, вскрыв конверт с девизом и убедившись в своей ошибке, жюри решило, что ни ставить драму никому не известного подростка, ни публиковать ее в «Возрождении» нет никакой надобности. Довольно девочке и тома Фонвизина.

Не думаю все же, что жюри могло быть настолько наивным и считать возможным, чтобы Мережковский посыпал свои произведения на конкурс. Должно быть, существует другое объяснение. Но факт остается фактом — из-за этого конкурса еще одна замечательная писательница не стала украшением русской литературы.

Георгий Иванов был бессменный председатель собраний «Зеленой лампы», Гиппиус и Мережковский тогда уже, после выхода его сборника стихов «Розы», провозгласили его первым русским поэтом. Мережковский даже сделал ему надпись на «Атланти-

де» — «Лучшему поэту современности». Да, Георгий Иванов был очень близок с ними, особенно с Гиппиус. Я же никогда ни с Гиппиус, ни с Мережковским не сближалась, хотя всегда оставалась с ними в самых лучших отношениях и усердно посещала «воскресенья» и собрания «Зеленой лампы».

Меня не так интересовали идеи, высказываемые на 11-бис, рю Колонель Боннэ, как сами Гиппиус и Мережковский. Я не представляла удивляться им обоим. Вид Мережковского, в особенности в дни, когда ему нездоровилось и он казался особенно бледным, изможденным и тщедушным, всегда заставлял меня вспоминать чье-то определение Жозефа Жубера: «Он был только душой, встретившей хилое тело, душой, сумевшей подчинить себе это хилое тело...» Мережковский всегда казался мне более духовным, чем физическим существом. Душа его не только светилась в его глазах, но как будто просвечивала через всю его телесную оболочку.

У Зинаиды Николаевны, напротив, душа как будто пряталась где-то глубоко в теле и никогда не выглядывала из тусклых, затуманенных глаз.

Она была чрезвычайно (некоторые даже находили — чрезмерно) умна. Хотя я никогда не понимала, как можно быть «чрезмерно умной». По всей вероятности, она была гораздо умнее Мережковского (как многие утверждали). Но и тут я не берусь судить — ведь ум состоит из стольких разнообразных и часто противоречивых элементов, что суждение об уме не может не быть субъективным. Все зависит от того, что считаешь главным в уме.

Зинаида Николаевна была совершенно лишена энтузиазма, вдохновения и способности восхищаться чужими мыслями. У Мережковского же страсть к восхищению выражалась иногда даже комично.

Так, например, ведя как-то беседу с молодым поэтом Заковичем, он вдруг весь насторожился, встрепенулся, протянул к нему руку и воскликнул:

— Совсем как Тертуллиан! Будто не Закович, а Тертуллиан говорит! Зина, нет, ты только послушай! Послушай!

Но Закович, недавно лишь приведенный Поплавским на «воскресенья», скромный и застенчивый молодой поэт, так смущился, что не мог больше связать и двух слов, и только испуганно оглядывался на Поплавского.

После этого случая Мережковский долгое время называл Заковича Тертуллианом.

— Придет сегодня Тертуллиан? — спрашивал он, выходя из своего кабинета к уже собравшимся в столовой гостям. Он всегда

выходил с опозданием, тогда как Зинаида Николаевна с самого начала приема, то есть с четырех часов, уже занимала свое место за чайным столом.

Мережковский был очень, даже чрезесчур снисходительным к своим собеседникам, преувеличивал их ум и знания и часто находил особую значительность и глубину в самых обыкновенных мыслях и словах, если только они, по Мережковскому, касались метафизики, и он мог оттолкнуться от них, как от трамплина, перелететь в четвертое или в энное измерение, рассыпаясь фей-ерверком идей.

Глубину, мудрость, мистику он видел часто там, где их вовсе не было, — так он однажды неожиданно обнаружил их и во мне. В то воскресенье почему-то решили читать стихи, что не было принято. Стихи читали и о стихах говорили с Зинаидой Николаевной группировавшиеся около нее и не принимавшие участия в дебатах с Мережковским.

Но тут устроили «всеобщий день поэзии», и все присутствующие, не исключая и самого Мережковского, должны были участвовать в нем.

День поэзии происходит в гостиной, поэты выходят на середину комнаты и читают стоя. Я сижу на диване рядом с Зинаидой Николаевной в ожидании своей очереди.

— Вы не застали, — говорит она, — эпохи, когда Димитрий Сергеевич гремел как поэт. Всякие «Сакья Муни», «Песни шута» и тому подобное. Гремел, но гром-то был бутафорский. И до чего он иногда громыхал. О какой-то своей изменнице, еще до меня. Я до слез смеялась. Вот послушайте... И она скандирует с комическим пафосом:

Но если б ты могла понять, какая сила
Была у ног твоих, когда со мной шутя
Играла ты в любовь и все потом разбила.
Не я, а ты в отчаянье немом
Рыдала бы теперь горючими слезами.

— А публике, представьте, нравилось, и критике тоже. И его переводы, Бодлера, например, были под стать:

Голубка моя, умчимся в края,
Где все, как и ты — совершенство! —

Он приспособил Бодлера для шарманки. И все шарманки эту «Голубку» играли. Мне было стыдно за него.

Она прижимает палец к губам.

— Сейчас Димитрий Сергеевич. Давайте слушать.

Мережковский, держа тетрадку в руке, быстро семеня ногами в синих войлочных туфлях, становится спиной к окну — маленький, сутулый.

Я мысленно переношу его в Петербург конца XIX века, на эстраду громадного, бурлящего и кипящего зала, переполненного студентами и курсистками, и стараюсь представить себе, как он произносил:

Бог, великий Бог лежал в пыли —

и овации, которые там устраивали ему.

Он перелистывает страницы тетрадки и с какой-то застенчивой полуулыбкой, не свойственной ему, начинает читать — очень скромно, очень просто и совсем хорошо. И стихи его очень простые, очень скромные и совсем хорошие. Музыкальны, легки и даже чуть-чуть трогательно-наивны. О каких-то странниках-паломниках и о прелестной северной русской весне. Они чем-то отдаленно напоминают мне Сологуба.

— Вам нравится? — спрашивает шепотом Гиппиус.

— Очень.

Она кивает.

— Слава Богу, это совсем не то, что прежде. Но теперь это никому не нравится. Дмитрий Сергеевич уже давно перестал печатать свои стихи.

После Мережковского читает Гиппиус. С места, сидя на диване. Нараспев. Ясно, сухо, вразумительно, без привычных капризных ноток в голосе:

Какая-то лягушка (все равно)
Свистит под небом черновлажным
Заботливо, настойчиво, давно...
А вдруг она о самом важном?

Лягушку мы все знаем наизусть. Хотя аплодировать не полагается, Зинаиде Николаевне все же аплодируют, и это ей явно приятно.

Поэты сменяют поэтов. И о каждом из них Гиппиус — она одна — говорит несколько слов. Она хвалит Адамовича, Мамченко, Терапиано за стихи «В день Покрова» и, конечно, Георгия Иванова.

Голубоватый идет солдат,
Как этот вечер, голубоват,—

нараспев выкрикивает один из молодых поэтов.

Зинаида Николаевна наводит на него свой монокль-лорнет и громко шепчет:

— А по-моему, еще лучше было бы: «как этот вечер, глуповат».

Все смеются. Молодой поэт смущается и не хочет продолжать.

— Вздор, — заявляет Гиппиус, — вы не салонная поэтесса, чтобы обижаться. — И без всякой последовательности продолжает: — Ко мне раз явились в Петербурге просить стихи для салонного женского альбома, а я им ответила: по половому признаку не объединяюсь! — И кивает в сторону молодого поэта: — Ну, читайте. Не ломайтесь.

Наконец очередь доходит и до меня. Я выхожу на середину гостиной, еще не решив, что буду читать. Я уже совсем не та, что на берегах Невы. Я уже не живу стихами и для стихов и не ношу больше бантов. Здесь и то, и другое было бы неуместно и даже смешно.

Здесь стихами интересуются одни поэты, и то эгоистично, даже эгоцентрично — своими собственными стихами. А читателям стихи в лучшем случае безразличны и не нужны.

Русские в эмиграции — и в Берлине, и в Париже — совсем не то, что в Петербурге. Я не узнаю их. И не нахожу с ними общего языка.

Сколько раз я в первый год, в Берлине, хотела вернуться к себе домой. Домой, в Петербург. Нет, мне совсем не нравится «заграница». Ни Берлин, ни даже Париж.

К тому же, и это очень странно, для меня в эмиграции время как будто пошло назад, вспять. Я как будто неожиданно помоло-деля. Из поэта настоящего, поэта, возраст которого не играет роли, я тут превратилась в «молоденькую поэтессу» и «молодую романистку», как меня постоянно величали в прессе. И что уж совсем дико — я так и оставалась «молодой поэтессой» и «молодой романисткой» бесконечно долго, чуть ли не до окончания войны. Со мной в эмиграции случилось обратное, чем с гадким утенком в сказке Андерсена. Гадкий утенок там превратился в лебедя, я же, напротив, из «лебедя» превратилась в «гадкого утенка».

Вот и сейчас, стоя посреди гостиной, я чувствую, что слишком высоко поднимаю голову и держусь слишком самоуверенно для «гадкого утенка». Я все еще не могу привыкнуть ко всеобщему равнодушию, окружающему меня здесь.

Что мне читать? Ведь здесь никто не знает и не любит моих стихов. Только не слишком длинное. Скоро Рождество — значит, это пойдет.

И я начинаю с моими прежними интонациями, паузами и жестами, как когда-то на берегах Невы:

Белым полем шла,
И странник шел со мной.
Он тихо сказал, качая
Белоснежной головой:
На земле и на небе радость —
Сегодня Рождество...

Окончив, я возвращаюсь к дивану и сажусь рядом с Зинаидой Николаевной. Она наводит на меня свой лорнет-монокль и улыбается мне.

— Я не ждала, что вы так хорошо умеете выступать. Так независимо и гордо. Я сама когда-то выходила на сцену, как в тронный зал. Будто я — королева, а слушатели — мои подданные. Я никогда не кланялась на аплодисменты, я принимала их как должное. Пусть себе хлопают, раз им хочется. Я не удостаивала слушателей вниманием.

К дивану подходит Димитрий Сергеевич и берет меня за руку.

— Я никак не предполагал, — взволнованно говорит он, — в вас такой глубины, такого мистического прозрения. Невероятно! Необъяснимо!

Я чувствую, что сейчас и я буду названа Тертуллианом, или Франциском Ассизским, или святым Бернаром. А может быть, даже Данте.

— Но ведь это совсем банально. Это все только бутафория, и дешевая... — протестую я. — Направо добро, налево зло... Это все рифмованная чепуха.

— Тогда еще замечательнее, раз вы сами не сознаете, что создали. Это... это прямо невероятно.

Я кусаю губы, чтобы не рассмеяться, и больше не спорю. Сейчас, сейчас он провозгласит меня Франциском Ассизским.

Но Зинаида Николаевна неожиданно вмешивается.

— Как это у вас? Выползет черепаха, пролетит летучая мышь? Да? И что змея появляется — хорошо. У меня тоже когда-то было стихотворение про змею.

Я такая добрая, добрая,
Как ласковая кобра я...

— Зинаида Николаевна, прочтите, пожалуйста, о ласковой кобре, — прошу я. И она не заставляет себя долго просить, к общему, и главное — моему удовольствию.

Мережковский, слушая ее, забывает о моей «небывалой глубине и мистическом прозрении», и слава Богу.

Зинаида Николаевна медленно, грациозно встает с дивана.

— А теперь пойдем чай пить. Давно пора.

И все переходят вместе с нею в столовую и усаживаются вокруг стола.

Владимир Ананьевич Злобин, как всегда, ловко и быстро наливает и разносит чай, успевая в то же время любезно предлагать гостям бисквиты и сдобные булочки, как будто он, а не Зинаида Николаевна здесь хозяйка — очень внимательная хозяйка.

Разговор становится общим. Сегодня, исключение из правила, рассуждают только о стихах. Георгий Иванов проникновенно приводит цитату из Лермонтова, своего любимого поэта, восхищаясь ею:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сиянье голубом...

— Чушь! — перебивает его опоздавший на «День поэзии» Бахтин и, гордо закинув рыжеволосую голову, безапелляционно заявляет: — Лермонтов — бездарность!

Меня такое заявление Бахтина не задевает и не удивляет. Я привыкла к его эксцентричным выпадам. Не далее как в прошлое воскресенье он заявил во всеуслышание, что «Евангелие просто пустая книга, которой безумно повезло».

Но молодые поэты дружно и возмущенно хором протестуют, перекрикивая друг друга.

— Зина, посмотри, сколько он сахара кладет! — неожиданно среди шума и гула спорящих раздается возглас Мережковского. Указательный палец его вытянутой через стол руки указывает прямо на Георгия Иванова, действительно, как всегда, положившего пять кусков сахара в свою чашку чая.

Зинаида Николаевна поворачивает голову к Георгию Иванову, занимающему свое обычное место возле нее, с правого слышащего уха.

— Очень правильно делает, — говорит она одобрительно. — Необходимо хоть немного подсластить нашу горькую жизнь и наш горький чай. Ведь как скучно: и разговоры, и чай, и обед, все одно и то же. Каждый день. Не только в Париже, но и прежде, там, в Петербурге, еще до революции. Всегда одно и то же, говорили, ели и пили. Я как-то на одном обеде Вольного философского общества сказала своему соседу, длиннобородому и длинноволосому иерарху Церкви: «Как скучно! Подают все одно и то же. Опять телятина! Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца!» Он весь побагровел, поперхнулся и чуть не задохся от возмущения. И больше уж никогда рядом со мной не садился. Боялся меня. Меня ведь Белой Дьяволицей звали. А ведь жареный младенец, наверное, вкуснее телятины.

— Это как у Свифта? Жареные ирландские младенцы? — спрашиваю я.

Зинаида Николаевна недовольно щурится.

— Свифт? — недоумевающе тянет она. — При чем тут Свифт? Я вообще его никогда не читала!

Я удивлена. Я спрашиваю:

— Даже «Гулливера»? Неужели? Никогда?

Но она делает вид, что не слышит. Я испортила своим неуместным вопросом о Свифте эффект «жареного младенца». Она недовольно щурится и неожиданно обращается к Злобину:

— Чай пить, правда, скучно. Володя, достаньте из буфета нашего «moine miraculeux»*.

Ликер «Le moine miraculeux» — единственный ликер, признаваемый Мережковскими. Они приписывают ему какие-то чудодейственные целительные свойства.

Но пьют его на 11-бис, рю Колонель Боннэ только по большим праздникам, и то не все гости, а лишь избранные, по одной рюмочке, не больше. И сейчас, как всегда, Зинаида Николаевна указывает, кого следует угостить «чудодейственным монахом».

— Володя, налейте рюмку Георгию Викторовичу Адамовичу, Георгию Владимировичу (Иванову), Виктору Андреевичу (Мамченко), Юрию Константиновичу (Терапиано). И Бахтину.

Остальным — в том числе и мне — «монаха» не полагается. Я, впрочем, все равно отказалась бы от него. Я еще не научилась пить ни ликеры, ни водку. Но раз мне не предлагают, то и отказываться не приходится. Как и обижаться не приходится.

В прихожей раздается звонок. Злобин идет открывать.

Зинаида Николаевна прислушивается, вытянув шею, к доносящимся из прихожей голосам.

— Это Александр Федорович, — объясняет она. — Он сегодня обедает у нас. — И спрашивает: — Который час? Разве уже так поздно?

Уже восемь часов. Мы непозволительно засиделись. Все разом встают. Как всегда, Зинаида Николаевна и Мережковский идут провожать гостей.

В прихожей Керенский. Он успел снять пальто и поправляет галстук перед зеркалом.

Я впервые вижу Керенского так близко. Я знакома со многими знаменитыми людьми, но с таким знаменитым человеком, как он, мне еще не приходилось встречаться. С таким знаменитым —

* «Чудодейственный монах» (фр.) — название ликера.

был ли кто-нибудь знаменитее Керенского весной и летом 1917 года?

Правда, с тех пор прошло десять лет, но мне кажется, что отблеск его прошлой славы все еще окружает его сиянием.

Он здоровается с Зинаидой Николаевной, с Мережковским, и со всеми «воскресниками», даже с теми, кого, как меня, он видит впервые, крепким рукопожатием.

Рукопожатия. Я вспоминаю, что ему пришлось носить правую руку на перевязи в июле 1917 года после тысяч рукопожатий. Неужели таких же крепких, как сейчас?

Пожимая руки, он бросает властно и отрывисто, как будто отдает приказания: «Здравствуйте! Как поживаете? Рад с вами познакомиться».

Прищуренные глаза, как две щели на большом, широком, массивном лице. Густые серо-стальные волосы бобриком и какая-то военная выправка, хотя он до своей головокружительной карьеры был штатским — петербургским помощником присяжного поверенного Сомова.

Мне кажется, что, несмотря на свой громкий голос и резкие движения, он очень застенчив. Хотя вряд ли он кому-нибудь со-знается в этом, даже себе.

Он чрезвычайно близорук, но из непонятного кокетства не желает носить очки или пенсне. Вместо очков он пользуется, как мне рассказывали, лорнеткой. Мужчина с лорнеткой для меня так же немыслим и невероятен, как женщина с моноклем.

Но вот они — женщина с моноклем и мужчина с лорнеткой, должно быть, единственные на свете — стоят здесь рядом передо мной.

Керенский действительно достает из бокового кармана пиджака тоненькую дамскую лорнетку. В памяти моей всплывают строки Кузмина о маркизах:

Кто там выходит из боксета
В жилет атласный затянутый?
Стекла блеснули его лорнета...

Да, стекла лорнета Керенского блестят, но Керенский совсем не похож на маркиза.

Лорнетка кажется особенно хрупкой, игрушечной в его увесистом кулаке. Он подносит ее к глазам, и от этого его массивное, широкое лицо принимает какое-то странное, жалкое выражение — не то стариковское, не то старушечье.

Лорнеткой, правда, как я слыхала, он на улице не пользуется, хотя по близорукости ему и очень трудно обходиться без нее.

Он не узнает знакомых, не отвечает на поклоны. О нем рассказывают, что он однажды, быстро переходя улицу Пасси — он всегда ходит очень быстро, всегда спешит, — натолкнулся на автомобиль и, приподняв шляпу, вежливо извинился: «Пардон, мадам». Но это, конечно, анекдот.

Я внимательно, во все глаза разглядываю его. Ведь это тот самый Керенский, воплощавший свободу, тот самый, кого боготворили толпы, тот самый, под чьей фотографией красовалась подпись:

Его, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Если бы я вела дневник, я в тот вечер, вернувшись домой, записала бы на чистой странице: «Сегодня я познакомилась с Керенским». И поставила бы точку.

Но я не вела дневника. Эту первую встречу с Керенским я записала в своей памяти. Без комментариев.

— Человек почти всегда добивается того, о чем мечтает, чего страстно желает, беспрестанно, днем и ночью, во сне и наяву, — каждую минуту. Например, «как я хочу получить Нобелевскую премию», — убежденно произнес на одном из «воскресений» на 11-бис, рю Колонель Боннэ Дмитрий Сергеевич Мережковский.

О том, что он страстно желает получить Нобелевскую премию, знали все посетители «воскресений». Мережковский не скрывал, а даже, скорее, подчеркивал свое желание. Он считал, что Нобелевская премия по справедливости должна быть присуждена ему и он один достоин ее.

— Бунин? Но разве можно считать Бунина серьезным конкурентом? Он просто бытовик, бытописатель, надоедливо и скучно фотографирующий скучные мелочи существования вперемежку с надоевшими всем давно закатами, снегопадами, дождливыми вечерами и заходами солнца. Кому это нужно? Кому это интересно? «Жизнь Арсеньева»? — безмерно растянутое описание молодости никчемного дворянского недоросля, к тому же перегруженное описаниями природы. Ну, еще два-три томика всяких нудных рассказов и хваленая «Деревня». — Ее Мережковский, о чем он любил поминать, так и не мог одолеть. — Каждый раз засыпал от скуки на двадцатой или тридцатой странице, как ни старался. Пришлось бросить, — он вздыхал с притворным огорчением и добавлял: — Все же я постоянно держу эту самую «Деревню» на ночном столике — на случай бессонницы. Великолепно помогает!

Нет, положа руку на сердце, Мережковский не считал Бунина серьезным конкурентом:

— Ведь не совсем же идиоты судьи, не слепые же кроты они! Разве можно сравнивать меня и Бунина?!

И все же его тревожили и беспокоили слухи о кампании, ведущейся в пользу Бунина. В ней участвовало столько «именитых» эмигрантов с Густавом Нобелем и Конжунцевым во главе. Да и среди писателей не все были сторонниками Мережковского, хотя бы тот же Алданов, ведший яростную кампанию в пользу Бунина среди своих «иностранных коллег», — не только французов, но и шведов.

Быть вполне уверенным, что Нобелевская премия достанется ему, а не Бунину, Мережковский все же не мог и считал, что лучше обеспечить себя на всякий случай.

Однажды, весной 1932 года, Мережковский на одном из «воскресений» предложил Бунину (Бунин, Вера Николаевна и Галина Кузнецова во время своих наездов в Париж из Грасса изредка навещали «воскресенья» Мережковского):

— Давайте, Иван Алексеевич, заключим пакт. Если мне достанется Нобелевская премия, я вам отдаю половину, если вам — вы мне. Поделим ее пополам. Застрахуемся взаимно. Тут, в присутствии их всех, — он обвел взглядом сидящих за столом. — Дадим друг другу честное слово, что поделим премию.

Но Бунин решительно покачал головой.

— Ну уж нет, Дмитрий Сергеевич. Не согласен. Заранее заявляю — делиться и не подумаю. Вам присудят — ваше счастье. Мне — так мое.

Мережковский на минуту весь даже съежился, глаза его и все лицо поблекли и затуманились, будто в нем погас свет, освещавший его изнутри.

Он, по-видимому, никак не ожидал такого решительного резкого отказа на свое великодушное (ведь премия, по всей вероятности, достанется именно ему) предложение.

— Воля ваша, — проговорил он хрипло, превозмогая обиду. — Боюсь только, что вы пожалеете, и очень, что так опрометчиво...

Но Бунин, удобнее откинувшись на спинку зеленого кресла, широко и свободно взмахнул рукой.

— Ну, что там гадать на кофейной гуще. Поживем — увидим. А связывать себя обещаниями я всегда терпеть не мог. И страховок не признаю, — и закончил убежденно: — А в звезду свою я верю!

В январе 1934 года, вернувшись из Риги, где мы с Георгием Ивановым провели год, мы отправились к Мережковским на

«воскресенье». Не успела я поздороваться со всеми и ответить на многочисленные вопросы Зинаиды Николаевны, как раздался звонок и в столовую вбежал взволнованный, растерянный Злобин, звонко крича:

— Бунин!

Минута замешательства.

Это действительно была историческая минута, и все сразу почувствовали ее значение.

Бунин недавно вернулся из Стокгольма. И это был его первый (и последний) визит к Мережковским. Ответный визит: Мережковский еще до отъезда Бунина в Стокгольм для получения Нобелевской премии ходил поздравлять его в отель «Мажестик». Но не застал.

— Не был принят. Не удостоился лицезреть, — уверяла Зинаида Николаевна. — Понятно — зазнался Иван. Теперь уж он к нам ни ногой.

И вдруг Бунин, «сам Бунин», во всем сиянии и блеске своего величия и славы...

Шум отодвигаемых стульев. Все, за исключением одной Зинаиды Николаевны, встали и почтительно замерли на своих местах.

Мережковский, побледнев до пепельной серости, вскочил и еще больше сгорбившись, суетливо, почти вприпрыжку бросился встречать.

Казалось, даже тусклая лампа над столом засветила ярче, когда в столовую легко, твердо и не спеша вступил, держась необычайно прямо, ново-нобелевский лауреат. Его худое, бритое лицо с зоркими глазами, с чуть презрительно сжатыми тонкими губами выражало царственную, высокомерную благосклонность.

За ним, придавая еще большую торжественность его появлению, скромно шли Вера Николаевна и Галина Кузнецова.

Зинаида Гиппиус одна среди этого моря почтительного волнения сохраняла спокойствие и хладнокровие, внимательно рассматривала вошедших сквозь стекла своего лорнета. Грациозно подавая руку Бунину, она протянула лениво:

— Поздравляю, — добавив после короткой паузы: — И завидую.

Она здоровается с Верой Николаевной и Галиной Кузнецовой, в упор уставляя на них свои лорнет.

— Какое на вас красивое платье, Вера Николаевна, — растягивая слова, произносит она, — верно, страшно дорого стоило? — улыбка в сторону Галины Кузнецовой. — И на вас тоже... С каким вкусом и, верно, тоже страшно дорогое... Садитесь возле

меня, Иван. Мне так интересно услышать, как вас приветствовал шведский король и как он вам кланялся.

Бунин, перед тем как занять место около нее, с той же царственной благосклонностью обошел всех, принимая поздравления. Я удостоилась даже его картавого передразнивания.

— Здравствуйте, здравствуйте. Страшно пррриятно вас видеть.

Галина Кузнецова садится возле меня. Я очень люблю Галину и всегда рада встрече с ней. Она смотрит на меня своими прелестными, грустными глазами и тихо вздыхает:

— Ах нет, Ириночка, совсем не так чудесно, как вам кажется, — это было очень утомительно. И беспокойно. Новый год мы встретили в поезде. На обратном пути Иван Алексеевич хотел непременно в Германии заехать к Степуну. Я простудилась. И там...

Я слушаю ее взволнованный, милый, чуть задыхающийся голос. До чего она вся мила. В ней что-то невинное, трогательное, девичье, какой-то молодой «трепых», особенно очаровательный не у девушки, а у женщины. Русский молодой «трепых». У иностранок его не бывает.

Бунин красноречиво описывает свою поездку в Швецию, церемонию получения премии.

Мережковский, успевший овладеть собой, пускает в него несколько отравленных стрел, плохо закамуфлированных лестью. Недолет. Перелет. Ни одна стрела не попадает в цель. Бунин просто не замечает их и отвечает на вопросы Мережковского с той же величавой благосклонностью.

Снова звонок. На этот раз двери открывает прислуга, а не Злобин, весь ушедший в свою роль *jeune fille de la maison* — в угощение «высоких гостей» — чаем, печеньем и появляющимся только по большим праздникам ликером «*moine miraculeux*».

Из прихожей быстро входит известный художник X., останавливается на пороге и, устремив взгляд на сидящего в конце стола Мережковского, как библейский патриарх, воздевает руки к небу и восклицает:

— Дождались! Позор! Позор! Бунину дать Нобелевскую премию!

Но только тут, почувствовав, должно быть, наступившую вдруг наэлектризованную тишину, он оглядывает сидящих за столом. И видит Бунина.

— Иван Алексеевич! — вскрикивает он срывающимся голосом. Глаза его полны ужаса, губы вздрагивают. Он одним рыв-

ком кидается к Бунину: — Как я рад, Иван Алексеевич! Не успел еще зайти принести поздравления... От всего сердца...

Бунин встает во весь рост и протягивает ему руку.

— Спасибо, дорогой! Спасибо за искреннее поздравление, — неподражаемо издевательски произносит он, улыбаясь.

Я смотрюсь в зеркало в предпоследний раз и, как всегда перед отходом, недовольна собой. Всегда что-нибудь не так — или шляпа, или волосы, или платье, или выражение моего лица. Какой у меня сегодня нелепый вид.

Потом я об этом забуду, но сейчас я совсем не нравлюсь себе. Надо торопиться, я опять, как всегда, опаздываю. Я еду на коктейль к своим французским друзьям, они просили не опаздывать. Я ищу перчатки. Георгий Иванов уже снял с вешалки мою шубку и подает ее мне.

— Непременно приезжай в «Зеленую лампу», ты уже в прошлый раз не была. Прямо в «Лампу», если задержишься там. И позвони мне, чтобы я не ждал напрасно дома. Непременно. Ты ведь знаешь, как я беспокоюсь о тебе.

Да, знаю, отлично знаю. Он вечно беспокоится обо мне. Зря беспокоится.

— Хорошо, хорошо, приеду в «Лампу», хотя мне и не очень хочется, — обещаю я, надевая шубку. И в эту минуту звонит телефон.

— Вот, меня уже и вызывают. Скажи, что я уже уехала. Он, кивнув, берет трубку.

— Алло? Алло? — до меня доносятся какие-то щелкающие звуки, но слов я разобрать не могу.

— Что? что? Повтори, — кричит Георгий Иванов срывающимся от волнения голосом. — Что случилось?

Нет, это не мои французские друзья. Что-то случилось. Но что? Я в недоумении жду, не решаясь уйти, не узнав, в чем дело.

Наконец он вешает телефонную трубку.

— Только что убили президента, — говорит он. — Убил русский. Боятся, что начнется избиение русских. Ты никуда не пойдешь — опасно. Я с ума сойду от страха, если ты уедешь.

Русский убил президента? Будут громить и убивать русских? Готовят Варфоломеевскую ночь? Да, уезжать мне действительно нельзя. И я соглашаюсь остаться. Георгий Иванов благодарит меня:

— Слава Богу, хоть ты благоразумна. Спасибо. А как быть с «Лампой»?

Снова звонит телефон. Это Опуп. Он уже знает и в ужасе. Что нас всех ждет? Но он сегодня должен читать доклад в «Лампе». Состоится ли заседание или его отменят?

— Решай, ведь ты председатель «Лампы».

— Надо отменить, — говорит Георгий Иванов, — но я один, без Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны, решать никак не могу. А у них нет телефона. Я ведь только липовый, номинальный председатель.

Телефон продолжает беспрерывно звонить. Звонит Адамович, Фельзен, звонят знакомые, интересующиеся «Лампой». И все в один голос:

— Отменить, слишком опасно. Ты (или вы) как постоянный председатель можешь (или можете) и без Мережковского.

Но Георгий Иванов не согласен.

— Я пойду к нему. Ведь мне с Франклином до Колонель Боннэ совсем близко. А ты сиди тихо и жди меня. Я скоро вернусь.

Но я не хочу оставаться одна.

— Нет, я пойду с тобой.

Он не сразу соглашается, но я настаиваю, и он, как почти всегда, уступает мне.

— Хорошо, только не говори по-русски и вообще молчи.

И вот мы идем по гудящей и кипящей, обыкновенно такой буржуазно чинной и тихой улице Пасси. «...» — ясно доносится до меня. Я вздрагиваю. Неужели это о нас? Нет, это о русских вообще. Георгий Иванов ускоряет шаг. Мы почти бежим, но никто в толпе не обращает на нас внимания.

И вот мы уже входим в дом Мережковских. Дверь открывает горничная.

Мережковский стоит на пороге гостиной бледный, с перекошенным лицом и как будто еще больше сгорбившийся.

— Конец мира наступает, — торжественно произносит он, поднимая руку, — апокалиптический конец. Страшный...

Но Георгий Иванов сразу перебивает его.

— Димитрий Сергеевич, надо отменить «Лампу». И как можно скорее, ведь уже половина шестого.

— Отменить? — возмущенно говорит Мережковский и смотрит на него. — Отменить? Но ведь это будет просто историческое заседание — в день убийства президента русским! И ведь все надо соборно обсудить. И решить, как в дальнейшем действовать. Нет, отменить невозможно. Это был бы просто позор, преступление. Опасно? Что же, что опасно, — отмахивается он от доводов Георгия Иванова. — Мы не презренные трусы. Мы должны исполнить наш долг.

Георгий Иванов оглядывает пустую гостиную.

— А где Зинаида Николаевна? Что она думает?

Мережковский, уже подхваченный волной вдохновения, уносящей его за облака, снова сразу возвращается на землю.

— Она тоже считает, что необходимо отменить «Лампу». Она пошла вниз все узнать, убедиться в настроении, на улицу, прощупать пульс жизни. Она сейчас вернется и все расскажет. Тогда и решим.

— А Владимир Ананьевич где?

— Он с утра уехал в Ампер к больному знакомому.

Мы садимся с ним на диван и ждем, слушая неубедительные уверения Мережковского о необходимости сегодняшнего исторического заседания «Лампы».

Проходит полчаса, а Зинаида Николаевна все не возвращается.

Георгий Иванов смотрит на часы.

— Что же это? Где она? Не случилось ли с ней чего? — спрашивает он встревоженно.

Его тревога передается Мережковскому.

— Она так неосторожна, могла вступить в разговор, заспорить с французами. Она так потрясена, не могла усидеть дома, так захвачена этим чудовищным убийством...

Проходит еще полчаса.

Георгий Иванов встает.

— Я пойду вниз, поищу ее.

— Невероятно, неправдоподобно, я просто умираю от беспокойства, с ума схожу, — говорит Мережковский. — Идите, Георгий Владимирович. Идите.

Звонок. Георгий Иванов открывает дверь.

В прихожую несвойственной ей быстрой и резкой походкой входит совершенно расстроенная Зинаида Николаевна. Даже перья на ее большой, криво сидящей шляпе как-то необычайно топорщатся.

— Ну что? Что ты узнала? — кидается к ней Мережковский. — Отчего ты так долго? Что случилось?

Но она, не отвечая ему и не здороваясь с Георгием Ивановым, возмущенно кричит:

— Все, все испортила! Все перешить надо! И юбка коротка, и рукава узки! И складок мало! И ко вторнику готово не будет!

...А заседание «Лампы» в тот вечер все же отменили.

Мережковский говорил, что биографии писателей и поэтов, как и воспоминания о них, чаще всего превращаются не в цветы,

а в тяжелые камни, падающие на их могилу, придавливающие ее. Что о поэтах и писателях должны писать только поэты и писатели, и то далеко не все. И тут часто такие биографии и воспоминания становятся памятниками не тем, о ком они пишутся, а авторам их: Я и Толстой. Я и Пушкин. Я и Блок. Я и русская поэзия. В подтверждение права выдвигать себя на первое место приводятся письма своих друзей и почитателей.

— Не смейте писать обо мне! Не смейте приводить моих писем! — воскликнул он, в порыве вдохновения потрясая рукой. — Запрещаю! Не вколачивайте меня в гроб! Я хочу жить и после смерти.

И все-таки я нарушаю этот запрет.

Но не для того чтобы «вколотить его в гроб», а для того чтобы помочь ему жить в сердцах читателей таким, каким он был, а не таким, каким он кажется многим. Очистить, защитить его от клеветы и наветов.

Это нелегко. Трудно спорить с утверждающими, что он был «чудовищно эгоистичен и эгоцентричен», что он никого на свете не любил и не уважал, кроме «своей Зины», что ему на все и на всех было наплевать, только бы он и она могли пить чай — это казалось ему справедливым и естественным.

Да, он считал и ее, и себя исключительными людьми, для которых «закон не писан». Мораль — для других-прочих, для обычновенных, а они могут поступать, как для них выгоднее и удобнее.

Удобства он чрезвычайно ценил. Его поступки совсем не должны совпадать с его «высокими идеалами» и могут идти вразрез с ними.

Как-то на одном из «воскресений» он допытывался у Адамовича, как тот мог написать хвалебную статью об одном из явно бездарных писателей:

— Неужели он правда нравится вам?

Адамович всячески старался отвертеться, уверяя, что в конце концов тот, о ком он писал, в сущности, не так уж плох. Но Мережковский не унимался, и Адамович, выведенный из себя, вздохнул и сознался:

— Просто из подлости, Димитрий Сергеевич. Он мне не раз помогал.

Мережковский радостно закивал:

— Так бы и говорили! А то я испугался, что он вам действительно нравится. А если из подлости, то понятно, тогда совершенно не о чем говорить. Мало ли что из подлости можно сделять!

Вот этим «из подлости» и объясняется его поведение во время войны, его так называемая измена России — «гитлерство», речи по радио и прочее.

На самом деле все это делалось только «из подлости» и не касалось его действительных взглядов и чувств. Мережковские жили тогда, как и мы, в Биаррице, постоянно встречались с нами, и я могла наблюдать за всеми стадиями его якобы превращения из ярого ненавистника Гитлера в его поклонника.

Положа руку на сердце, утверждаю, что Мережковский до своего последнего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидя и презирая его по-прежнему.

В спорах с Георгием Ивановым, считавшим, как и Черчилль, что «хоть с чертом, но против большевиков», Мережковский называл Гитлера «маляр, воняющий ножным потом».

Кстати, меня удивляет это его невероятное презрение к Гитлеру: он считал его гнусным, невежественным ничтожеством, полуපомешанным к тому же.

А ведь он всю жизнь твердил об Антихристе, и когда этот Антихрист, каким можно считать Гитлера, появился перед ним. — Мережковский не разглядел, проглядел его.

